

«Вильгельм-Дроня»... Его давно уже называли так: И за глаза, а порою и в глаза. По имени-отчеству его величали только гардеробщица тетя Вера, да редактор переводческого отдела Лев Зусевич — оба люди пожилые, хранящие верность церемонным обращениям. Иногда ему казался странным звук собственного имени — он вздрагивал и подслеповато моргал бесцветными глазами. Гораздо привычнее, чем выпретенное Артемий Константинович было обращение по фамилии — Сорокин, а еще привычнее эта странная кличка «Вильгельм-Дроня». Он не обижался: казалось порог обиды, унижения, насмешки не существовал для него. Да и как можно унизить человека, не стеснявшегося ходить на работу в измятой донельзя рубашке, заляпанном пиджаке с вечно болтающимися пуговицами и побелевших от времени брюках? Когда ему намекали на несоответствие внешнего облика высокой должности корректора в крупном журнале и пеняли на неэстетичную одежду, он лишь пожимал плечами, и некое подобие улыбки появлялось на серых губах.

Сорокин не то чтобы пренебрегал материальными ценностями — ему нравилась и добротная одежда, и хорошая еда, но он не считал нужным самому добиваться их. Есть — хорошо, нет — тоже славно. Он не выпрашивал ни путевок в санаторий, ни интересных командировок, не требовал прибавки к зарплате, ни даже отпуска в летние месяцы. Но и витающим в облаках переростком его тоже нельзя было назвать. Он как бы существовал в двух параллельных мирах, причем материальный, плотный и зримый был где-то внизу, и в нем Сорокин оставлял лишь свою оболочку, действительно неэстетичную. Душа же парила в поднебесье, беседовала с Пушкиным, восторгалась Державиным, спорила с Ахматовой и Шелли и упоенно замирала перед небесно-золотым чертогом своего кумира — Вильгельма Кюхельбекера.

Незадачливый поэт, имя которого в основном упоминалось в общем списке «Поэты пушкинской поры», друг Пушкина и Баратынского, декабрист и коллежский асессор — был всем для Сорокина. Стоило ему завалиться на диван с потрепанной книжкой стихов Кюхельбекера, как время замирало, и жизнь казалась одним большим праздником. Он искренне полагал, что только переменчивая фортуна оставила Кюхлю в вечной тени его великого лицейского товарища, и если бы не роковая цепь случайностей, то именно Кюхельбекер, а не кто-то другой блистал на литературном небосклоне той поры. Сорокин знал о Кюхельбекере все, книгу Тьяньнова «Кюхля» цитировал чуть ли не наизусть, и так надоел сослуживцам, что кличка «Вильгельм» пристала к нему всерьез и надолго.

Семья у него, конечно, не было. Как-то не задерживались жены рядом с человеком, с которым даже Обломов со своей любовью к дивану и халату казался сгустком энергии.

Впрочем, дамским вниманием Сорокин не был обделен. Трудно сказать, что манило их в нем — нелепом, неряшливом, не вписывающимся ни в один из стандартов, привычных человеческому сознанию. Не человек, а одно сплошное «не». Несовременный, непрактичный, незаземленный. Очевидно, это «не» и притягивало к нему женщин. Брутальность, или то, что выдается за нее — нагловатость, резкость, властность прискучивали им, и они припадали к старомодности Сорокина как к живительному роднику, бессознательно ища в нем ласки и тепла. До Сорокина в конце концов доходило, что дамы ждут от него не только интеллектуальных бесед, и он, как ни странно, оказывался страстным любовником. И женщины, пораженные этими новыми талантами Сорокина, сохраняли по нему трогательную и благодарную память. Но ни одной из них не удалось задержаться надолго — для этого нужна не только удивленная нежность, но и бег в одной упряжке по дороге жизни, а впрягаться и тем более бегать Сорокин решительно не умел. И женщины оставляли его, кто со слезами, кто с криком, кто с упреками, и Сорокину было тяжело от их боли, но изменить что-то в себе он не мог. Все облеченное в плоть и кровь существовало для него словно за стеной невидимого бассейна. За его пределами шумела жизнь — не всегда понятная, тяжелая, добрая, жестокая, милосердная — она неслась, мчалась, рвалась и создавала связи, но Сорокин существовал в своем плотно замкнутом бассейне и немеркнущим светом для него был образ Вильгельма Кюхельбекера.

Вторая, более ранящая часть клички — «Дроня» расшифровывалась просто. Вильгельм Кюхельбекер, будучи на поселении в городке Баргузин Иркутской области, умудрился жениться там на дочери местного почтмейстера Дросиде Ивановне Артеновой, миловидной, но почти неграмотной и очень раздражительной

бурятской девице. Она не могла выговорить и фамилии своего мужа, называя его «Клухербрехером». Но он звал ее ласково «Дронюшка», ей он читал свои сентиментальные стихи, и во всем потакал. В ее облике заключались для него уют и обаяние, нежность и женственность. Впрочем, милый поэт был не оригинален. Разве за несколько веков до него странствующий рыцарь из Ламанчи не обожествовал крестьянскую девушку Альдонсу Лоренцо и не нарек ее Дульсинеей Тобосской? Что нам стоит дом построить — рисуем, будем жить!

Нелепый, долговязый, глухой на одно ухо, (а к старости и вовсе ослеп) Кюхельбекер — драчун и дуэлянт, добряк и умница, человек, в жизни которого было больше безудержной пылкости и недоразумений, чем здравого смысла, был близок Сорокину и недосягаем для него. Донкихотство Кюхельбекера было несвойственно Сорокину — для этого он был слишком пассивен. Но — безумству храбрых поем мы песню! Само очарование подвигом, отвагой, куражом уже зажигало золотой свет счастья в сердце скромного корректора литературного журнала. Имена Вильгельм, Дросида, Дроня не сходили с его уст. О Кюхельбекере он мог говорить бесконечно, мечтал съездить в Тобольск и поклониться его могиле. Сослуживцы, заметив издалека в коридоре долговязую, сутулую фигуру, под любым благовидным предлогом бросались врассыпную. Взволнованный шепот «Вильгельм-Дроня» отскакивал от стен как клич SOS. Сорокин не слышал этого. Снисходительный к окружающему миру, он не доверял ему и стремился в собственную обитель радости — вожделенному неистовому романтику Вильгельму и его ненаглядной Дросиде. Только с ними он испытывал чувство неомраченного счастья — такое состояние он пережил только раз, когда в девять лет впервые увидел море с высокого утеса. Необъятность двух стихий — небесной и морской так потрясла его, что ночью он долго не мог уснуть, и мать выговаривала отцу, что нельзя сразу обрушивать на мальчика столь яркие впечатления. Никогда более это состояние не повторялось — даже самым радостным моментам жизни всегда сопутствовали неуверенность, тревога, подозрительность. Они легкой тенью заволакивали счастье и мешали ощутить его сполна. Но, слава Богу, никуда не денутся бескрайность и широта двух лазурных стихий, потому что они вечны, и, слава Богу, никуда не денутся Вильгельм и Дросида, потому что они уже в вечности, а значит незыблемы. А если так, что значат все насмешки и подтрунивания, все намеки и жалостливые взоры? Он, Сорокин, маленький ничтожный человек, жалкий корректоришка, возмущающий и даже оскорбляющий своим видом более успешных сослуживцев — на самом деле богаче их всех. У него есть бескрайность моря и неба, есть Вильгельм и Дросида, есть изумительная легкость отказа от всего заземленного, материального, вещного. Он, нелепый «Вильгельм-Дроня», счастливее их. Он...

После очередного отпуска сотрудники журнала не сразу заметили отсутствие «Вильгельма-Дрони». Затем по отделам дружно прошелестело радостно-удивленное: «Да вы что?! Взял расчет? Неужели уехал? В Тобольск? О, Боже! Ну, туда ему и дорога! С милым сердцу Вильгельмом остаток жизни проведет. А квартира как же? Дурак он и есть дурак. Дальним родственникам оставил? Повезло им. Хорошо еще, что не чужим людям. С такого бы случилось. А кем? Школьным библиотекарем?! Фи-у-у! Да что с такого возьмешь? Блаженный и есть. Ну, хоть позорить отдел своим драным видом не будет. Все к лучшему!»

— Хороший человек Артемий Константинович, умница. Дай ему Бог. Скучно без него будет,— задумчиво протянула гардеробщица тетя Вера.

— Да уж,— неопределенно пробормотал неповоротливый, похожий на встрепанную птицу, редактор переводческого отдела. И вздохнул полузавистливо:

— Свободный.